

Ничья на карусели

Автор:

[Харуки Мураками](#)

Ничья на карусели

Харуки Мураками

Мураками-мания

В сборнике рассказов Мураками сравнивает жизнь с каруселью, с которой невозможно сойти: мы никого не обгоняем и никто не обгоняет нас, однако нам это вращение кажется яростной ничьей с воображаемыми врагами.

«Мне самому нравится то, что я пишу. Я с нетерпением жду, что же у меня получится в следующий раз». – Харуки Мураками, абсолютный мастер слова и легенда современной литературы.

Эти истории просто хотят быть рассказанными!

«Я лишь постарался выложить на бумаге услышанные мною истории, по возможности, не разрушив их атмосферы».

«Факт может выглядеть странно неестественным в той или иной ситуации».

Поиски и покупка Ледерхозен приводит к внезапному решению о разводе, в афинском такси встречаешь мужчину с картины, висевшей в твоём доме несколько лет, знакомишься с молодым человеком у бассейна, который готовится к повороту в жизни в 35 лет, и какая славная вещь огонек, какие они красивые и теплые, эти маленькие огоньки, глядя на ночную землю из иллюминатора самолета.

Короткие истории, но в них чьи-то жизни, опыт и настроение.

Харуки Мураками

Ничья на карусели

Haruki Murakami

Kaiten Mokuba no Deddo Hiito

© Haruki Murakami, 1985

© Чинарева Ю., перевод на русский язык, 2013

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

* * *

Предисловие. Ничья на карусели

Мне становится немного не по себе, когда собранные здесь тексты называют рассказами. Они не являются таковыми в полном смысле слова.

Сядясь за рассказ, я обычно бросаю в огромный котел весь разрозненный фактический материал (если он, конечно, имеется) и плавлю его, пока он не утратит первоначального вида, и лишь затем, придав подходящую форму, использую. Вот что, в большей или меньшей степени, представляет собой рассказ. То же можно сказать и о реальности – реальность хлебной лавки в хлебе, а не в муке.

Между тем собранные здесь тексты в принципе основываются на фактах. Я составил их из множества историй, слышанных от множества людей. Дабы не ставить рассказчиков в неловкое положение, я немного поработал над деталями, и, хотя теперь они не являются фактами в чистом виде, в целом эти истории представляют собой именно фактический материал. Здесь нет преувеличений или дополнений, призванных добавить рассказу изюминки. Я лишь постарался выложить на бумаге услышанные мною истории, по возможности не разрушив их атмосферы.

Изначально работа над этой серией текстов (назовем их зарисовками) была для меня разминкой перед написанием романа. Мне вдруг пришло в голову, что максимально точное изложение фактов может для чего-нибудь пригодиться. Итак, я вовсе не планировал превращать зарисовки в буквы. Они были лишь прихотью, обреченной на ту же участь, что и прочие бесчисленные фрагменты текстов, пылящихся в ящике моего письменного стола.

Однако на третьей или четвертой истории я ощутил в них нечто общее: все они «хотят быть рассказанными». Это был неожиданный опыт.

Обычно, работая над рассказом, по мере того как разворачиваются стиль и сюжет, я абсолютно неосознанно выбираю в истории фрагменты, которые послужат мне материалом. При этом мои рассказы не совпадают полностью с моей реальной жизнью (да что там – я и сам с ней не совпадаю полностью), а значит, в них непременно накапливается некий осадок, который не удастся использовать до конца. Именно этот осадок или что-то вроде того я использовал в своих зарисовках. Осадок на доньшке моего сознания терпеливо ждал часа быть рассказанным в той или иной форме.

Вероятно, одна из причин возникновения такого осадка в том, что мне нравится слушать чужие истории. По правде сказать, мне гораздо больше нравится слушать чужие истории, чем рассказывать их самому. К тому же у меня, кажется, талант находить в чужих историях увлекательность. Как правило, они кажутся мне куда интереснее собственных. Причем заурядные истории заурядных людей интересуют меня гораздо больше, чем необыкновенные истории необыкновенных людей.

От этой моей способности – слушать чужие истории с интересом – никакой конкретной пользы. За годы писательства она ни разу не пригодилась мне даже на этой ниве. Может, и было такое, но я не припомню. Собеседник рассказывает,

я внимаю, история оседает во мне.

Если от этой способности и был хоть какой-нибудь толк моему литературному характеру, то это лишь терпение, которому я отчасти научился. На мой взгляд, прежде чем появиться на поверхности, увлекательность проходит через фильтр терпения – именно на этой стадии формируются сюжеты большинства рассказов. Нельзя, отвернув водопроводный кран, до краев наполнить бокал увлекательностью – вот она, пейте! Иногда не обойтись без обряда вызывания дождя. Хотя все это не имеет никакого отношения к сути представленных текстов. Вернемся к тому, с чего начали.

Множество чужих историй бесцельно копится во мне без всякой пользы. Собираются в сугробы, словно выпавший за ночь снег. С любителями чужих историй так часто бывает. Это капелланы могут передать чужую исповедь в авторитетную организацию вроде Небес, мы же лишены столь удобного собеседника. Нам остается лишь хранить их в себе.

В романе Карсон Маккаллерс[1 - Речь идет о романе «Сердце – одинокий охотник» американской писательницы Карсон Смит Маккаллерс (1917–1967).] глухонемой молодой человек внимательно выслушивает любого, сопереживает и радуется вместе с ним. Притянутые словно магнитом, собеседники делятся с ним самым сокровенным. В конце концов молодой человек сводит счеты с жизнью. Только тогда окружающие понимают: выливая на него самые разные свои проблемы, ни один из них не догадывался о его чувствах.

Я ни в коей мере не отождествляю себя с этим молодым человеком – порой и я рассказываю кому-то свои истории и даже пишу. И все же явственно ощущаю накопившийся во мне осадок – вот что я имею в виду.

Вероятно, именно по этой причине, стоило мне временно отказаться от рассказа как от литературной формы, – и весь этот материал самым естественным образом всплыл на поверхность моего сознания. Материал зарисовок представляется мне бездомным малюткой – он тихо дремлет во мне, не будучи вплетенным в какой-либо рассказ или текст. При мысли об этом отчего-то делается неуютно.

Между тем изложение этого материала в тексте не принесет мне даже малого облегчения. Я не затем описываю эти зарисовки и представляю их общему

вниманию. Как я уже сказал, они хотят быть рассказанными. Я чувствую это. При этом освобождение духа – совершенно отдельный вопрос; пока я, во всяком случае, не вижу никаких примет такого освобождения.

Уверенность в том, что самовыражение способствует освобождению духа, – самое обыкновенное суеверие, или, мягко говоря, миф. По крайней мере, самовыражение через текст дух не освобождает. Если вы хотите выразить себя именно с этой целью, не стоит и начинать. Самовыражение лишь дробит дух и никуда не ведет. Чувство, что оно куда-то ведет, не более чем галлюцинация. Писатель пишет, потому что не может не писать. В самом писательстве нет ни пользы, ни спасения.

А значит, осадок во мне останется осадком. Может, однажды мне удастся вплести его в новый рассказ в совершенно новой форме. Может, не удастся. Если нет, то осадок, вероятно, сгинет во мраке, заточенный во мне.

Сейчас я могу лишь собрать осадок в зарисовки. Я не знаю, правильно ли поступаю. Может, стоило написать настоящий роман? В ответ могу лишь пожалть плечами. И процитировать слова одного убийцы о том, что «всякое дело благо». Все, что я мог, – это объединить материал вот таким образом.

Я называю собранные здесь тексты «зарисовками», так как они не являются рассказами или документалистикой. Материал целиком основан на фактах, но форма воплощения (сосуд) целиком являет собой рассказ. Любая странность или неестественность той или иной истории – результат использования фактов. Возможность читать ее без особых усилий – следствие формы, то есть рассказа.

Чем больше ты слушаешь чужие истории, чем больше наблюдаешь сквозь них чужую жизнь, тем большее тебя охватывает бессилие. Осадок и есть то самое бессилие. Суть бессилия в том, что нам некуда идти. В нашем распоряжении – подвижная система под названием «наша жизнь», в которую мы можем себя вписать, но эта же система одновременно предусматривает и нас самих. Как карусель – мы всего лишь вращаемся в определенном месте с определенной скоростью. Наше вращение никуда не направлено. Ни выйти, ни пересечь. Мы никого не обгоняем, и никто не обгоняет нас. При том для сидящих на карусели это вращение кажется яростной ничьей с воображаемыми врагами.

Вероятно, именно по этой причине факт может выглядеть странно неестественным в той или иной ситуации. Подавляющая часть внутренней силы, которую мы зовем волей, исчезает, едва возникнув, однако мы не в состоянии этого признать, и пустота оборачивается странными и неестественными искривлениями на разных этапах нашей жизни.

По крайней мере, я так считаю.

Ледерхозен

Идея серии зарисовок, собранных в этой книге, родилась у меня однажды летом несколько лет назад. До того момента у меня не возникало желания писать тексты такого рода, и не расскажи она эту историю (и не спроси она, не выйдет ли из этой истории рассказ), может, и не было бы этой книги. Выходит, спичку поднесла именно она.

Между тем с момента, когда она поднесла спичку, и до того, как огонь разгорелся во мне, прошло довольно много времени. Фитили, торчащие из моего тела, порой бывают чрезвычайно длинны. Даже слишком длинны, настолько, что выходят за пределы моих поступков и средней продолжительности жизни моих чувств. Случается, огонь достигает тела, когда это теряет всякий смысл. Но в тот раз возгорание удивительным образом уложилось в нужный срок, и в результате возник этот текст.

Эту историю мне рассказала бывшая одноклассница жены. Не особенно дружные в школьные годы, после тридцати они случайно встретились, неожиданно сблизились и подружились. Зачастую подруги жены кажутся мужу довольно странными существами, но к ней я проникся симпатией с первой же встречи. Довольно крупная для женщины, она почти не уступала мне ни ростом, ни комплекцией. Преподавала игру на электрооргане, а все свободное время отдавала плаванию, теннису и лыжам. Подтянутая, всегда красиво загоревшая. Ее страсть к спорту можно было назвать маниакальной. Выходной начинался с утренней пробежки, потом заплыв в бассейне с подогретой водой, неподалеку, после обеда два-три часа игры в теннис, затем аэробика. Я и сам большой любитель спорта, но до нее мне было далеко как в количественном, так и в качественном отношении.

Называя ее страсть маниакальной, я ни в коей мере не имею в виду болезненность, ограниченность кругозора или агрессию. Напротив, ее отличал спокойный нрав, и она не имела привычки эмоционально давить на окружающих. Просто ее тело (и заключенный в нем дух), подобно комете, нуждалось в непрерывном движении.

То ли по этой причине, то ли по какой-то другой она была не замужем. Конечно, у нее случались романы – она была хоть и немного крупноватой, но довольно красивой девушкой. Случалось, она получала предложения руки и сердца, порой и сама испытывала чувства, но каждый раз, когда дело доходило до брака, тут же возникало какое-нибудь непредвиденное препятствие, и роман умирал, не получив дальнейшего развития.

– Не везет, – говорила жена.

– Ага, – соглашался я.

Между тем я не разделял мнения жены. Возможно, удача и вправду отчасти управляет человеческой жизнью, пестрой тенью рисуя темные пятна на карте нашей судьбы. Но если в дело вступает воля, да еще такая твердокаменная, заставляющая бежать двадцать километров или плыть три километра кряду, обстоятельства можно преодолеть, воспользовавшись волей словно удобным трапом. Лично мне казалось, у нее не получается выйти замуж только потому, что в душе она этого не хочет. По крайней мере, брак не укладывался полностью в энергетические рамки ее кометы.

Итак, она преподавала игру на электрооргане, в свободное время самозабвенно занималась спортом и регулярно страдала от несчастной любви.

Она жила отдельно с тех самых пор, как ее родители развелись, – она тогда училась на втором курсе.

– Это мама бросила отца, – однажды сказала она мне, – из-за шорт.

– Из-за шорт?! – изумился я.

– Странная история, – промолвила она, – неожиданная. Я никому об этом не говорила. Но ты ведь писатель, вдруг пригодится. Хочешь, расскажу?

Я пожелал непременно услышать ее историю.

Наш разговор происходил в дождливый воскресный день, она пришла в гости к моей жене, но не застала ее – та ушла за покупками. Дело в том, что подруга явилась на два часа раньше назначенного времени.

– Прости, – извинилась она, – собиралась поиграть в теннис, но планы смыло дождем. Не хотелось скучать дома, вот и решила зайти пораньше. Не помешаю?

Я ответил, что она не мешает. Мне и самому не хотелось работать, и я смотрел видео, поглаживая на коленях кота. Я пригласил ее в дом, сделал кофе. Мы пили кофе и досматривали последние двадцать минут «Челюстей». Сто раз виденный обоими фильм не вызывал особого энтузиазма. Нам было все равно, что смотреть.

На экране побежали заключительные титры, а жена все не возвращалась. Мы немного поболтали ни о чем – об акулах, о море, о плавании. Жены все не было. Несмотря на то что я не испытывал к ней никакой антипатии, для часовой беседы наедине у нас явно не доставало общих тем. В конце концов, она была подругой жены, а не моей.

Не зная, чем бы еще заняться, я уже собирался поставить следующий фильм, когда она внезапно заговорила о разводе своих родителей. Не знаю, почему вдруг вот так, без всякого перехода, она подняла эту тему (по крайней мере, я не усмотрел явной связи между разговором о плавании и историей с разводом родителей). Вероятно, была какая-то причина.

– Вообще-то неправильно называть их шортами, – продолжила она, – их настоящее название «ледерхозен». Знаешь, что это такое?

– Короткие кожаные штаны, в которых ходят немцы? На лямках, верно? – ответил я.

– Да. Отец захотел ледерхозен в подарок. Он довольно высокий для своего поколения, ему пошли бы шорты. Вообще не думаю, что японцам идут ледерхозен, хотя это дело вкуса.

Чтобы внести ясность, я решил уточнить, при каких обстоятельствах ее отец захотел ледерхозен в подарок.

– Прости, я всегда не с того начинаю. Если что-то будет непонятно, ты спрашивай, не стесняйся, – сказала она.

Я заверил ее, что так и сделаю.

– Мамина сестра в то время жила в Германии и пригласила ее в гости. Мама не знала ни слова по-немецки и ни разу не выезжала за пределы Японии, но много лет преподавала английский, и ей страшно хотелось хоть раз побывать за границей. К тому же она давно не виделась с сестрой. Она предложила отцу взять десятидневный отпуск и поехать с ней в Германию, но отца не отпустили на работе, и мать отправилась одна.

– И тогда отец попросил привезти ему ледерхозен?

– Точно, – ответила она, – мать спросила, что ему привезти, и он попросил ледерхозен.

– Вот оно что, – сказал я.

Из ее рассказа выходило, что в то время родители были сравнительно близки. Во всяком случае, больше не орали друг на друга по ночам, а отец перестал злиться и не ночевать дома по нескольку дней, как это бывало раньше, когда у него была другая женщина.

– У него неплохой характер, он настоящий трудяга, но очень уж падок на женщин, – рассказывала она бесстрастно, словно речь шла о постороннем для нее человеке.

На мгновение мне даже показалось, будто отец ее уже умер, хотя он был в добром здравии.

– Но в те годы отец был уже не молод, и эта проблема отпала сама собой. Казалось, они сохранят добрые отношения и в будущем.

На деле вышло по-другому. Практически не ставя их в известность, мать вместо десяти дней осталась в Германии на полтора месяца, а вернувшись наконец в Японию, отправилась прямиком к другой своей сестре в Осаку, так и не появившись дома.

Дочь с мужем не знали, что произошло. Несмотря на то что между супругами случался разлад, мать отличалась крайней терпимостью. Иногда казалось даже, что ей недостает воображения – так истово она дорожила семьей и слепо любила дочь. Поэтому то, что мать не приехала и не позвонила, никак не укладывалось у них в голове. Как ни старались, они не могли даже представить, что могло случиться.

Несколько раз они с отцом пытались звонить тетке в Осаку, но мать не подходила к телефону, и им так и не удалось расспросить ее об истинных намерениях.

Истинные намерения матери выяснились через два месяца после ее возвращения в Японию, в середине сентября. Она неожиданно позвонила домой и сообщила мужу, что выслала ему документы на развод.

– Подпишешь и вернешь, – велела она.

Когда отец поинтересовался причиной развода, мать, не задумываясь, ответила, что больше не питает к нему никакой любви. На вопрос отца о том, могут ли они пойти друг другу навстречу, она ответила решительным «нет».

На протяжении последующих двух или трех месяцев между родителями разворачивались телефонные баталии – они вели переговоры, в которых ни один не желал уступить. Мать стояла намертво, не идя ни на какие уступки, и отец, отчаявшись, наконец дал ей развод. Прошлые грешки говорили не в его пользу, не давая ему занять жесткую позицию. К тому же он всегда легко сдавался – такой уж характер.

– Эти события стали для меня настоящим шоком, – сказала подруга жены, – причем меня шокировал не развод – я всегда допускала мысль о том, что они

могут расстаться, и была психологически к этому готова. Разойдись они по-человечески, думаю, я не была бы в таком смятении. Проблема не только в том, что мать бросила отца, а в том, что она бросила и меня. Я ничего не понимала, это была серьезная травма. Видишь ли...

Я кивнул.

– Я всегда была на стороне матери и думала, что она мне доверяет. А она взяла и бросила меня заодно с отцом, ничего толком не объяснив. Я долго не могла простить ей этот ужасный, на мой взгляд, поступок. Писала ей бесконечные письма, требуя внятного объяснения, но она не отвечала и даже ни разу не пожелала со мной встретиться.

Они встретились спустя три года на похоронах родственника. Она уже окончила университет и зарабатывала на жизнь преподаванием игры на электрооргане. Мать преподавала английский в частной школе.

Когда они ехали с похорон, мать призналась, что ничего не говорила ей только потому, что не знала, что сказать.

– Я и сама не понимала, что происходит, – говорила мать, – но поводом послужили шорты.

– Шорты?! – изумилась она так же, как недавно я.

Она была уверена, что никогда больше не захочет разговаривать с матерью, но любопытство победило. Прямо с похорон в траурной одежде они зашли в кафе, и за бокалом чая со льдом мать поведала ей историю о пресловутых шортах.

Магазин ледерхозен находился в небольшом городке, в часе езды на электричке от Гамбурга. Тетка подробно все разузнала.

– Немцы советуют покупать ледерхозен только в этом магазине. Говорят, там хорошо шьют и не так дорого, – говорила она.

Мать села в вагон и одна отправилась за ледерхозен для отца. Всю дорогу она болтала по-английски со своими соседями по купе, четой немцев среднего возраста.

Узнав, что она едет покупать ледерхозен в подарок, супруги спросили, куда именно она направляется. Она назвала магазин, и они в один голос воскликнули, что там она наверняка купит то, что надо, ведь это лучший магазин ледерхозен в Германии. Это придало ей уверенности.

Стоял приятный погожий день, начало лета. Через весь город с тихим журчанием текла река, от нее веяло прохладой. Трава на берегу подрагивала от легкого ветерка. Каменные мостовые закручивались бесконечными кривыми. Повсюду гуляли кошки. Она зашла в крошечную кофейню и вместо обеда заказала кофе с сырным тортом. Город был красив и спокоен.

Она допила кофе и играла с кошкой, когда к ней вышел хозяин заведения и поинтересовался, куда она держит путь. Узнав, что она приехала за ледерхозен, он достал бумагу и нарисовал ей карту.

- Большое спасибо, - поблагодарила она.

Какое счастье путешествовать в одиночку, думала она, ступая по каменной мостовой. За все время своего путешествия по Германии она ни разу не испытала тоски, страха или скуки. Все пейзажи были свежи, а люди заботливы. Более того, одно за другим в ней просыпались самые разные чувства, долгие годы дремавшие за ненадобностью. Все, что раньше казалось важным - муж, дочь, дом, - находилось теперь с обратной стороны земного шара. Ей больше незачем было думать об этом.

Она легко нашла магазин ледерхозен. Это была небольшая лавка без нарядной вывески или витрины. Заглянув в помещение через окно, она увидела ряды ледерхозен. Толкнула дверь и вошла.

В магазине трудились два старика. Тихо переговариваясь, они измеряли ткань и что-то писали в тетрадку. Дальняя часть магазина была скрыта шторой, оттуда доносился монотонный стук швейной машины - вероятно, там располагалась мастерская.

- Вы что-то хотели, фрау? – привстав, спросил по-немецки высокий старик.

- Я хочу купить ледерхозен, – ответила она по-английски.

- Фрау будет их носить?! – воскликнул старик на ломаном английском.

- Нет, я не буду их носить. Я отвезу их в подарок своему мужу в Японию.

- Хм, – старик задумался, – выходит, ваш муж сейчас не здесь?

- Конечно не здесь. Он в Японии, – ответила она.

- Тогда здесь будет возникать одна проблема, – старик тщательно подбирал слова, – мы не можем продать товар несуществующему клиенту.

- Но мой муж существует, – возразила она.

- Это так. Ваш муж существует. Конечно же, – взволнованно проговорил старик, – простите, я плохо говорю по-английски. Я хотел сказать, что... если вашего мужа здесь нет, то мы не можем продать для него ледерхозен.

- Но почему?! – Она ничего не понимала.

- Таков принцип нашего магазина. Prinzip. Клиенты примеряют подходящие ледерхозен, мы тщательно подгоняем их по фигуре и только тогда продаем. Мы работаем так более ста лет. Именно благодаря этому принципу нам доверяют.

- Я потратила полдня, специально приехала из Гамбурга, чтобы купить у вас ледерхозен.

- Извините, фрау. – Было видно, что старику действительно искренне жаль. – Но исключения быть не может. В нашем ненадежном мире нет ничего более труднодостижимого и хрупкого, чем доверие.

Она со вздохом задумалась, по-прежнему стоя в дверях. Должен же быть какой-то выход. Высокий старик что-то объяснял низенькому по-немецки. Низенький

слушал, кивая: «Ja, ja – да, да». Несмотря на существенную разницу в росте, у стариков были удивительно похожие, практически одинаковые, лица.

– Послушайте, а если мы сделаем вот что, – предложила она, – я найду человека одинаковой с мужем комплекции и приведу его к вам. Он примерит ледерхозен, вы подгоните их по фигуре и продадите мне.

Высокий старик растерянно уставился на нее:

– Но, фрау, это против правил. Штаны станет носить другой человек, ваш муж. И мы знаем об этом. Нет, это невозможно.

– Так сделайте вид, что не знаете. Вы продадите ледерхозен этому человеку, а я куплю их у него. Тогда ваш принцип не пострадает, верно? Ну, подумайте же хорошенько. Я вряд ли снова приеду в Германию. Это мой единственный шанс заполучить ледерхозен.

– Хм.

Старик ненадолго задумался, затем снова начал по-немецки объяснять ситуацию низенькому. Высокий закончил рассказ, низенький что-то ответил по-немецки. И так несколько раз. Наконец высокий обратился к ней:

– Мы вас поняли, фрау. В виде исключения – но только в виде исключения! – мы сделаем вид, что ничего не знаем о данных обстоятельствах. Редко кто специально приезжает из Японии за нашими ледерхозен. К тому же мы, немцы, не очень сообразительны. Ищите человека максимально близкой вашему мужу комплекции. Брат тоже согласен.

– Спасибо, – ответила она и добавила по-немецки, обратившись к другому старику: – Das ist sehr nett von Ihnen. – Премного, мол, благодарна.

Дойдя до этого места, она – теперь я имею в виду дочь – сложила на столе руки и перевела дух. Я допил остывший кофе. Дождь все лил, жена все не возвращалась. Я терялся в догадках, не представляя, как дальше повернутся события.

– И что же? – Я желал поскорее узнать конец истории. – Вашей матери удалось найти похожего на отца человека?

– Да, – ответила она бесстрастно, – удалось. Мать уселась на скамейку и долго рассматривала прохожих, пока наконец не выбрала добродушного на вид человека одинаковой с отцом комплекции. Не спрашивая его согласия – он ни слова не понимал по-английски, – она притащила его в магазин.

– Она производит впечатление довольно энергичной дамы, – промолвил я.

– Не знаю. В Японии она была тихой и благоразумной, – вздохнула она. – В общем, работники магазина объяснили мужчине ситуацию, и он с удовольствием согласился побыть моделью, раз уж такое дело. Он надел ледерхозен, и торговцы подогнали их по фигуре – здесь отпустили, там подогнули. Все это время старики перебрасывались с мужчиной шутками на немецком и весело смеялись. Через тридцать минут, когда работа была закончена, решение о разводе полностью созрело.

– Я не совсем уловил суть, – сказал я, – в эти тридцать минут что-то произошло?

– Ничего не произошло. Три немца мирно перебрасывались шутками, только и всего.

– Но почему тогда за тридцать минут она приняла решение о разводе?

– Она и сама долго не могла этого понять, пребывала в смятении. Единственное, что мать знала наверняка, – это то, что, пока она смотрела на мужчину в ледерхозен, из глубины ее души, словно пена, поднималась нестерпимая ненависть к отцу. Она ничего не могла с собой поделать. Мужчина в ледерхозен был действительно похож на моего отца, разве что кожа белая, а в остальном все то же – форма ног, пузцо, даже наметившаяся лысина. Надев новенькие ледерхозен, он рассмеялся, радостно раскачиваясь на месте. Мать смотрела на него и чувствовала, как в ней формируется и крепнет неясная мысль. Она впервые поняла, как сильно ненавидит мужа.

Жена вернулась с покупками, и они устроились вдвоем поболтать, я же все думал о ледерхозен. Мы перекусили, немного выпили, а я все думал о них.

– Твоя ненависть к матери прошла? – спросил я у нее, когда жена вышла из комнаты.

– Да, пожалуй, прошла. Мы очень далеки, но ненависти я не испытываю, – промолвила она.

– Это из-за того, что она рассказала тебе о шортах?

– Да. Думаю, да. После этой истории я больше не могла ненавидеть мать. Трудно объяснить, но думаю, это потому, что мы обе женщины.

Я кивнул.

– А если – я подчеркиваю, если – исключить из рассказа шорты и это была бы история о женщине, которая обрела независимость в путешествии, ты бы простила матери, что она тебя бросила?

– Нет, – решительно ответила она, – шорты – главное в этой истории.

– Мне тоже так кажется, – согласился я.

Мужчина в такси

Это случилось несколько лет назад. Под псевдонимом я писал о галереях для небольшого журнала об искусстве. Несмотря на то что статьи были о художественных галереях, в живописи я был полным невеждой и стремился не столько составить профессиональный обзор, сколько поделиться впечатлениями о галеристах и передать читателю галерейную атмосферу. Без особого восторга я решил попробовать себя на этом поприще, но работа неожиданно оказалась интересной. Я не так давно начал писать рассказы и считал, что такое занятие – встречать и выслушивать многих людей – наверняка пригодится мне в работе. Я внимательно наблюдал за тем, что думают разные люди, как они излагают свои мысли в словах, а затем искусно пожинал их высказывания и перестраивал в своих текстах.

Серия статей выходила в течение года – шесть сдвоенных номеров. Редакторский отдел (на деле состоявший из одного-единственного редактора) рекомендовал мне несколько наиболее интересных галерей, а я, обойдя их, выбирал одну для статьи. Это были статьи на пятнадцать полос по четыре сотни знаков. В силу собственной неловкости и стеснительности поначалу я работал с трудом, совершенно не представляя, о чем спрашивать собеседника и как об этом писать.

Однако после нескольких интервью и ряда проб и ошибок я открыл для себя один секрет – нужно попытаться найти в собеседнике нечто незаурядно-возвышенное, нечто тонкое, теплое. Оно может быть сколь угодно ничтожным и незначительным, но стоит его отыскать, и вопросы польются сами собой, а значит, статья выйдет живой и увлекательной. Главное – это любовь и понимание, сколь бы избито ни звучали эти слова.

Впоследствии я брал множество интервью и лишь однажды не смог проникнуться к собеседнику ни каплей любви – собирая для еженедельника материал об известном частном университете, я провел в нем около недели, но так и не почувствовал ничего, кроме атмосферы власти, гниения и лицемерия. Я беседовал с десятком педагогов, включая ректора и деканов, и лишь один из них был со мной искренен – доцент, двумя днями ранее подавший заявление об уходе.

Но это в прошлом. Вернемся к мирному рассказу о галереях. Почти все это были мелкие районные галерейки, не имевшие никакого веса. Я посещал их вместе с фотографом, высоким парнем года на три или четыре старше меня. Пока я беседовал с хозяевами галереи, он фотографировал интерьер.

В конце интервью я всегда задавал галеристам один и тот же вопрос: «Какая картина потрясла вас больше всего?» Не лучший вопрос для интервью – все равно что спросить писателя о любимой книге. Слишком пространная тема. Собеседник наверняка ответит, что любимых книг слишком много, или отделается дежурной фразой. Тем не менее я задавал этот вопрос каждому собеседнику. Отчасти потому, что мне казалось важным спросить об этом у человека, профессионально занятого искусством, отчасти в надежде, если повезет, услышать интересную историю.

О картине «Мужчина в такси» мне рассказала галеристка лет сорока. Далеко не красавица, но мирные и благородные черты ее лица дарили душе ощущение покоя. Белая блуза с крупным бантом, серая твидовая юбка, черные туфли на высоком каблуке. Когда она ступала по паркету большими с детства ногами, шаги гулко отдавались в зале нестройным звуком, словно кто-то вбивал клин.

Ее галерея на первом этаже одного из зданий в Аояме в основном специализировалась на гравюрах. На дилетанта вроде меня развешанные на стенах работы не произвели особого впечатления, но некий магнетизм ее личности удивительным образом подсвечивал окружающие предметы, и они казались намного ярче, чем в действительности.

После интервью она убрала кофейные чашки, достала из буфета бокалы и бутылку красного вина и предложила нам с фотографом, потом налила себе. У нее были молодые руки с тонкими пальцами. В подсобке на плечиках висели тренч от «Burberry» и серый кашемировый шарф. На письменном столе лежали стеклянное пресс-папье в форме утки и маленькие золотистые ножницы. Стоял декабрь, и с потолка из крошечных динамиков лились рождественские мелодии.

Она поднялась с места, пересекла комнату и вернулась с портсигаром. Прикурив от длинной золотистой зажигалки, выпустила тонкую струю дыма.

Если бы не странный ритм ее шагов, я бы даже не заметил некоторой неестественности ее движений.

– Ну и последний вопрос. Если позволите, – промолвил я.

– Конечно, пожалуйста, – улыбнулась она. – Вы говорите как следователь из телесериала.

Я засмеялся. Вслед за мной засмеялся и фотограф.

– Какая картина потрясла вас больше всего? – спросил я.

Она немного помолчала, задумавшись. Затем, взглянув на меня, затушила в пепельнице окурки.

– Смотря что вы имеете в виду под словом «потрясла». Что значит «потрясла»? Вызвала восторг как художественное произведение? Или шокировала, потрясла в более примитивном смысле слова?

– Не обязательно художественный восторг, – ответил я, – скорее, нечто более физиологическое.

– Без физиологического шока в нашем бизнесе никуда, – засмеялась она, – этого-то добра полно. Недостает как раз художественного восторга.

Она пригубила вино.

– Проблема в том, – продолжила она, – что на самом деле восторг никому не нужен. Вы так не считаете? У вас не возникает такого ощущения, когда вы пишете?

– Пожалуй, – ответил я.

– Неудобство художественного восторга заключается в том, что его непросто описать словами, – продолжила она, – сплошные стереотипы. Шаблонно, старо, избито... доисторический век. Вот все и хотят чего-то более лаконичного и простого. Такого, что можно с легкостью уместить в своем описании. Вроде телевизионного пульта – щелк-щелк, переключаешь каналы. Хотят физиологического шока, чувствительности... называйте это как угодно.

Она наполнила опустевшие бокалы вином, снова закурила.

– Я сложно говорю?

– Мне интересно, – ответил я.

Тихий гул кондиционера, шипение воздуха в увлажнителе и рождественские мелодии слились в один странный и монотонный звук.

– Пожалуй, если вас устроит нехудожественный восторг и нефизиологический шок, могу рассказать вам об одной картине, запавшей мне в душу. Вернее, об одной истории, связанной с картиной. Подойдет?

– Конечно, – ответил я.

– Шел тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год, – начала она. – Когда-то, мечтая стать художницей, я поступила в один из художественных университетов в восточной части США, но после окончания осталась в Нью-Йорке и стала работать арт-дилером – хотела материальной независимости, а если честно, просто махнула рукой на свой талант. Ходила по студиям молодых неизвестных нью-йоркских художников, отыскивала талантливые работы, скупала и отправляла торговцам картинами в Токио. В самом начале карьеры я сначала отправляла цветные негативы и лишь после того, как токийский заказчик выбирал понравившиеся работы, покупала их. Но вскоре мне стали доверять, и в дальнейшем при покупке картин я руководствовалась только собственным вкусом. Постепенно у меня сложилась обширная информационная сеть, образовались связи в художественных кругах Гринвич-Виллидж – я всегда узнавала, если кто-то работал над интересной картиной или остро нуждался в деньгах. Гринвич-Виллидж тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года... Это было что-то. Помните те времена?

– Я тогда был студентом, – ответил я.

– Значит, помните, – кивнула она, – чего только не было в те годы. Чего только не было... От шедевров до полной ерунды, от подлинников до подделок... Для человека моей профессии Виллидж тех лет был настоящим кладом. Надо было только уметь видеть – там можно было встретить потрясающих личностей и мощные новаторские произведения, каких не бывало в другие времена и в других местах. Что и говорить, многие из закупленных мною тогда работ стоят сейчас целые состояния. Если бы я могла отложить несколько картин для себя, была бы сейчас весьма обеспеченной дамой, но в то время у меня совсем не было денег... Жаль.

Повернув лежащие на коленях руки ладонями вверх, она с улыбкой продолжила:

– За все время я лишь однажды сделала исключение, купила единственную картину. Она называлась «Мужчина в такси». Увы, с художественной точки зрения работа ничего собой не представляла – она не отличалась любопытными художественными приемами, сквозь неумелые мазки новичка в ней не проступали зачатки таланта. Имя автора, чехословацкого эмигранта, кануло в

безвестности. Цена, соответственно, была невысокой... Странно, не правда ли? Картины, найденные для других, растут в цене, а единственная работа, купленная для себя, оказалась бесценком... Видно, не повезло.

Я кивнул, ожидая продолжения рассказа.

– В гостях у того художника я оказалась в один из сентябрьских дней тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. В Нью-Йорке только что прошел дождь, и город напоминал запеченное в закрытой посуде блюдо. Как звали художника, я не помню. Вы же знаете эти восточноевропейские имена – их невозможно запомнить, если только они не переименованы на американский манер. С художником меня познакомил мой сосед немец, студент художественного университета. Однажды он постучался в мою дверь со словами:

– Послушай, Тосико, мой друг-художник очень стеснен в средствах. Может, зайдешь к нему как-нибудь, хоть завтра, посмотришь его работы?

– О'кей, – ответила я. – А он талантлив?

– Вряд ли, – сказал он, – но парень хороший.

И мы отправились в гости к чеху. Для Виллидж того времени была характерна... как бы это сказать... некая взаимовыручка, что ли.

В удивительно грязной квартире чех показал нам около двадцати своих работ. Чеху было двадцать семь лет, и он эмигрировал с родины всего три года назад, перебежав границу. Прожил год в Вене, затем перебрался в Нью-Йорк. В Праге у него остались жена и маленькая дочь. Днем он рисовал дома, а по вечерам подрабатывал в турецком ресторане неподалеку. «В Чехии нет свободы самовыражения», – говорил он, хотя, думаю, на самом деле его главная проблема была кое в чем другом – немец был прав, говоря, что он бездарен.

Оставался бы ты лучше в Праге, мысленно проворчала я.

С технической точки зрения картинам чеха нельзя было дать однозначную оценку – одни цветовые решения приводили зрителя в ужас, другие приемы были весьма удачны. Но не более того. На взгляд профессионала, его работы

были статичными. В них не было того, что принято называть «расширением сознания». При этом они вовсе не являлись художественным «тупиком». Просто автор достиг своего потолка. That's all – вот и все.

Они переглянулись с немцем – в его взгляде она прочла ту же мысль. Das ist alles – вот и все. С беспокойством чех следил за каждым ее движением.

Уже попрощавшись и стоя у порога, она неожиданно заметила еще одну картину. Это было горизонтальное полотно размером с двадцатидюймовый экран телевизора. В отличие от других работ в ней чувствовалось дыхание. Не выдающееся, нет. Совсем незначительное. Готовое вот-вот ускользнуть. И все же пусть слабое, но дыхание определенно чувствовалось. Она попросила чеха убрать остальные работы, расположила картину на освободившемся белом пространстве стены и внимательно вгляделась в нее.

– Это была первая картина, написанная мною в Нью-Йорке, – быстро и нервно заговорил чех, – в первый свой вечер в Нью-Йорке я несколько часов простоял на углу Таймс-сквер, наблюдая за улицей. А когда вернулся домой, за одну ночь написал эту картину.

На картине был изображен молодой человек на заднем сиденье такси. Если представить, что это фотоснимок, то фотограф явно выхватил мужчину крупным планом, сдвинувшись в центр переднего сиденья. Зрителю виден был его профиль, взгляд направлен за окно. Привлекательный мужчина. Вечерний костюм и строгая белая рубашка, черный галстук-бабочка и белый шарф. Чем-то напоминает жиголо, но для жиголо ему явно чего-то недостает. Возможно, более концентрированного голода.

Это вовсе не означает, что голода в нем не было вовсе. Где вы видели неголодного молодого человека? Просто его голод был слишком размыт и при взгляде со стороны – или при взгляде его глазами – казался чем-то иным, некоей точкой зрения, point of view, находящейся в процессе развития. Как синий туман – знаешь, что существует, а поймать не можешь.

Таким же синим туманом окутывает машину ночь. Цвет ночи виден сквозь заднее стекло автомобиля. Только цвет ночи. Синий с примесью черного и фиолетового. Роскошный цвет. Роскошный и плотный, как музыка Дюка

Эллингтона. Такой плотный, что, кажется, стоит поднести ладонь, и пальцы тут же в нем утонут.

Мужчина смотрит в сторону. И не смотрит ни на что. Ничто из увиденного за окном не тронет его души. Автомобиль движется вперед.

Мужчина куда-то едет?

Мужчина куда-то возвращается?

Картина не давала ответа на эти вопросы. Мужчина вписан в ограниченное пространство такси. Такси вписано в основополагающий принцип, движение. Движение. Какая разница, ехать куда-то или возвращаться. Какая, в сущности, разница. Разверзшаяся в гигантской стене черная дыра. Вход и выход.

Мужчина смотрит в темноту. Губы пересохли – похоже, ему страшно хочется курить. Но сигареты почему-то далеко, вне пределов его досягаемости. Скулы торчат. Подбородок заострен. Это враждебная заостренность. На подбородке, словно шрам, пролегла узкая тень. Тень-отголосок безмолвной битвы в невидимом мире. Край шрама скрыт белым шарфом.

– В итоге я отдала сто двадцать долларов и купила картину для себя. Сто двадцать долларов – совсем недорого за картину, но для меня в то время это была чувствительная сумма. Я была беременна, муж потерял работу. Актер на внебродвейских подмостках[2 - Внебродвейские подмостки – внешнее по отношению к Бродвею, не столь блестящее кольцо нью-йоркских театров, малобюджетная экспериментальная постановка, иногда любительская.], он и раньше не много зарабатывал. Основной доход лежал на мне.

На этом она прервала рассказ и, пригубив вино, углубилась в воспоминания.

– Вам понравилась картина? – спросил я.

– Картина мне не понравилась, – ответила она, – уровень, как я уже говорила, был любительским – ни хорошо, ни плохо. Мне понравился изображенный на ней молодой мужчина. Я купила картину только ради того, чтобы любоваться им. Чех

страшно обрадовался признанию его работы, а немец, кажется, удивился. Думаю, он так ничего и не понял. Не понял истинной причины покупки.

Рождественская кассета щелкнула и закончилась, наступила глубокая тишина. Она разгладила на коленях твидовую юбку.

– Мне было двадцать девять лет. Закат юности, как принято говорить. Я приехала в Америку, чтобы стать художницей, но не стала ею. Мои глаза оказались талантливее рук. Создать что-либо своими руками было мне не под силу. А мужчина с картины... почему-то он показался мне частью моей собственной потерянной жизни. Дома я повесила картину на стену и день за днем смотрела на нее. Каждый взгляд на мужчину с картины давал мне осознание величины утраченного мною. Или его мизерности... Муж часто насмеялся надо мной, говоря, что я влюблена в мужчину с картины. Ведь я подолгу смотрела на него. Но муж ошибался. Я испытывала к этому мужчине что-то вроде симпатии. Говоря о симпатии, я имею в виду не сочувствие или сострадание, а некую разделенную на двоих печаль. Вы меня понимаете?

Я молча кивнул.

– Я так долго созерцала мужчину в такси, что в какой-то момент он словно стал моим вторым «я». Он понял мои чувства, а я поняла его. Поняла его печаль. Он оказался запертым в такси под названием «заурядность». Ему не выбраться оттуда. Никогда. Никогда. Заурядность усадила-заперла его там, похоронила в клетушке заурядного пейзажа. Вам не кажется это печальным?

Помолчав, она продолжила:

– Вот такая история. Это не было художественным восторгом или толчком, отнюдь. Не было и проявлением чувствительности или физиологического потрясения. Вы удовлетворены?

– Только один вопрос, – сказал я, – картина все еще у вас?

– Нет, – мгновенно ответила она, – я ее сожгла.

– Когда это произошло?

– В семьдесят первом году. В мае семьдесят первого. Кажется, что совсем недавно, а ведь прошло почти десять лет. Столько всего случилось – я рассталась с мужем, решила вернуться в Японию. Оставила ребенка. Не буду вдаваться в подробности. В тот момент хотелось бросить все. Совсем все. Отбросить последовательные образы[З - Последовательный образ – в психологии зрительное ощущение, остающееся сразу после прекращения действия раздражителя.] всех мечтаний, желаний и любви, изведанных мною в этом мире. Я взяла у друзей пикап, побросала в кузов все, что было в комнате, вывезла на пустырь и, облив керосином, сожгла. «Мужчина в такси» оказался среди прочего. Отличная сцена, не хватает только сентиментальной музыки, вы не находите?

Она улыбнулась, я улыбнулся в ответ.

– Мне не жаль было жечь картину. Ведь это было одновременно и мое, и его освобождение. Сгорев, он наконец вырвался из клетки заурядности. Вместе с ним я сожгла часть себя. Это случилось ясным майским полднем семьдесят первого года. Сразу после этого я вернулась в Японию. Ну а теперь, – она обвела рукой комнату, – сами видите. Управляю галереей. Работа спорится. У меня, так сказать, явный коммерческий талант. Сейчас я не замужем, но мне ни капельки не грустно. Живу довольно радостно. Однако история «Мужчины в такси» не закончилась майским полднем семьдесят первого года на нью-йоркском пустыре. У нее есть продолжение.

Она достала из портсигара «John Player Special», поднесла зажигалку, закурила. Фотограф закашлялся. Я отодвинулся. Дым медленно полз вверх и таял, рассыпаясь на части, подхваченный струей из кондиционера.

– Прошлым летом в Афинах я встретила его. Его. «Мужчину в такси». Ошибки быть не могло. Это точно был он. Я сидела с ним рядом на заднем сиденье афинского такси.

Это было чистой случайностью. Как-то вечером, часов в шесть, во время путешествия по Афинам она взяла такси от Египетской площади до улицы Василисас Софиас. Молодой мужчина подсел в районе площади Омония – в Афинах принято подсаживать в такси пассажиров, если вам по дороге.

Мужчина был худощавый и очень привлекательный, в необычной для летних Афин одежде – вечернем костюме и при галстук-бабочке. Похоже, направлялся на солидную вечеринку. Вплоть до мелочей он являл собой точную копию мужчины с купленной в Нью-Йорке картины. На мгновение ей показалось, что произошла ужасная ошибка. Неведомым образом ее занесло в неправильное время и в неправильное место. Казалось, тело ее парит в десятке сантиметров над землей. В голове наступила полная пустота, и ей потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя.

– Привет, – улыбнулся ей мужчина.

– Привет, – ответила она по инерции.

– Вы ведь японка, верно? – поинтересовался он на хорошем английском.

Она молча кивнула.

– Я был в Японии, – промолвил он и, словно стараясь измерить тишину, расставил в воздухе пальцы, – на гастролях.

– На гастролях? – Она все еще не пришла в себя.

– Я актер. Играю в греческом национальном театре. Вы же знаете греческие трагедии? Еврипид, Эсхил, Софокл...

Она кивнула.

– Одним словом, Греция. Старина – это лучшее, что у нас есть.

Он улыбнулся и, прервав разговор, повернул длинную шею и направил взгляд за окно. Его и можно было принять только за актера. Он долго и неподвижно смотрел в окно. Такси еле ползло по запруженной автомобилями улице Стадио (был конец рабочего дня), но мужчину это, похоже, ничуть не тяготило – он рассматривал витрины и афиши за окном. Она всеми силами старалась навести в голове ясность. Наконец она втиснула реальность в жесткие рамки реальности, а воображение в жесткие рамки воображения. Но и это не помогло. Она сидела в такси посреди Афин с мужчиной с картины. Ошибки быть не могло.

За это время автомобиль преодолел Стадио, проехал по площади Синтагма и выехал на Софиас. До ее отеля оставалась буквально пара минут. Мужчина по-прежнему смотрел в окно. Ласковый вечерний ветер играл его мягкими волосами.

- Простите, - обратилась она к мужчине, - вы, наверное, направляетесь на какую-то вечеринку?

- Да, конечно, - ответил мужчина, - я еду на вечеринку. На прекрасную большую вечеринку. Будет много народу, все будут пить и развлекаться до самого утра. Но я уеду раньше.

Такси притормозило перед отелем, швейцар распахнул дверцу.

- Каро таксис. Приятного путешествия, - сказал мужчина по-гречески.

- Эфхаристо поли. Большое спасибо, - ответила она.

Проводив взглядом исчезающий в вечерней пробке автомобиль, она вошла в отель. Сумрак парил над городом, словно колышущаяся от ветра мембрана. Она поднялась в гостиничный бар и выпила три водки с тоником. В баре стояла абсолютная тишина, посетителей, кроме нее, не было, с улицы не проникал вечерний сумрак. Ей казалось, что часть ее осталась позабытой в афинском такси - на заднем сиденье едет на вечеринку с молодым актером в вечернем костюме. Остаточное явление, так бывает в первый миг, когда сходишь на землю с качающегося корабля, - тело еще качается, а земля стоит на месте.

Это длилось так долго, что она не заметила, когда качка наконец улеглась, и что-то в ней навсегда угасло. Она явственно почувствовала: что-то закончилось.

- Я как сейчас слышу его последние слова. Каро таксис. Приятного путешествия. - Она сложила руки на коленях. - Какие прекрасные слова, вы не находите? Я думаю об этом каждый раз, когда их вспоминаю. Пусть многие части моей жизни утеряны, это ведь лишь части, что-то все еще впереди.

Она со вздохом улыбнулась краешком губ.

– На этом история о «Мужчине в такси» заканчивается. That’s all – вот и все, – сказала она, – прошу прощения за долгий рассказ.

– Что вы! Было очень интересно, – хором ответили мы с фотографом.

– Эта история преподносит нам урок, – сказала она в конце, – важный урок, который можно извлечь лишь из собственного опыта. А урок вот какой: мы не в состоянии стереть что бы то ни было. Нам остается лишь ждать, пока оно само исчезнет.

На этом ее рассказ закончился.

Мы с фотографом допили вино, поблагодарили хозяйку и покинули галерею.

В тот же день я изложил ее рассказ на бумаге, но тогда его не удалось включить в статью – не хватило места. Теперь, когда его наконец удалось опубликовать в таком формате, я заметно успокоился.

У бассейна

Весной ему исполнилось тридцать пять, и он понял, что миновал свой «жизненный разворот».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Речь идет о романе «Сердце – одинокий охотник» американской писательницы Карсон Смит Маккаллерс (1917–1967).

2

Внебродвейские подмостки – внешнее по отношению к Бродвею, не столь блестящее кольцо нью-йоркских театров, малобюджетная экспериментальная постановка, иногда любительская.

3

Последовательный образ – в психологии зрительное ощущение, остающееся сразу после прекращения действия раздражителя.

Купить: <https://telnovel.com/haruki-murakami/nich-ya-na-karuseli>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)